

Алексей Макушинский

Море, сегодня

Москва

«Воймега»

2011

УДК 821.161.1-1 Макушинский
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
М17

А. Макушинский
М17 Море, сегодня. — М.: Воймега, 2011. — 76 с.

ISBN 5-7640-0103-X

© А. Макушинский, текст, 2011
© С. Труханов, оформление, 2011
© «Воймега», 2011

Not the intense moment
Isolated, with no before and after,
But a lifetime burning in every moment
And not the lifetime of one man only
But of old stones that cannot be deciphered.

T. S. Eliot

Попугай

У Гумбольдта описан попугай,
в Америке, конечно — в Южной, в джунглях
таящийся и помнящий слова
на языке племён, давно погибших.
И значит — что же? Значит — всё прошло,
прошли вожди и воины, цари
и царства, боги умерли, лежат
в развалинах их брошенные храмы,
легенды и преданья позабыты,
героев нет, красавицы истлели
в земле, навек рассыпались их бусы.
И только попка, старый и большой,
в зелёных перьях, с наглым жёлтым клювом,
всё помнит, и слова на языке
исчезнувшем звучат в нём ясно, гулко,
как, вот сейчас, по улице шаги,
в осеннем мраке. Вдруг взлетает он,
и медленно, всё выше, поднимаясь,
от ветки к ветке, где-нибудь на самой
вершине леса, тяжело садится.
Здесь всё иначе, время здесь неважно.
Былое и грядущее под ним
вздываются могучими волнами.
Лазурь небес прозрачна и легка.
Слова его разносятся над миром
торжественной, таинственной вестью,
немой для копошащихся внизу,
и всё же внятной им, как весть шагов,
по улице всё дальше уходящих.

5 февраля 2008

* * *

Увидеть бы море сегодня,
не завтра, сегодня, сейчас,
не после того и того-то,
а прямо, чтоб — вот оно, вот оно,
за этими крышами, окнами,
катящееся на нас
всем блеском своим, всеми волнами,
как в первый какой-нибудь раз.

Увидеть бы море сегодня,
немедленно и наяву,
за бензоколонками сонными,
за скукой трамвайных путей —
и лодки с их днищами чёрными,
и россыпь сетей и цепей,
и эту сухую, колючую,
ползучую, злую траву,

и дюны, песчаною кручею
взлетающие в ту высь,
где лёгкою кручей, летучею
небесная движется мысль...
Увидеть бы море сегодня,
немедленно, прямо сейчас,
великое море Господне,
всё знающее про нас.

3 июня 2009 г.

Возвращение в Вормс

Возвратиться в город, где год назад
был не то, что счастлив, но был спокоен,
и свободен, и не думал о том, что будет
через год — и чего не будет, кого через год не будет,

и гулял по еврейскому кладбищу, где записки —
Богу прижаты камнями к то же
камням, стоящим, к надгробиям знаменитых
раввинов, и прочитаны непогодой,

превратившей их в плотную массу, вроде
творога или брынзы, с буквенными следами,
вот бет, вот алеф. Овечье стадо
могил уходит к Ерусалиму. Нельзя готовить

ягненка в молоке его матери. Так мы кружим
вокруг того, что сказать не в силах,
и написать не можем. А Богу наши
и не нужны, наверное, буквы. Вот эти камни

и есть, кто знает, у Бога буквы, кто знает, эти
мохнатые корни, лезущие на стену
и волю, суть корни слов, которые ты там слышишь
и понимаешь, а я не слышу. Но возвратиться,

ещё раз, в город, где год назад был
почти что счастлив, зайти ещё раз
в собор, и оттуда на кладбище. За стеною,
с её корнями, и за железной дорогой — склады

друг с другом соперничают в безликой
белизне, и поезд идет, как всегда, в былое
и будущее одновременно. Ягненок смотрит
на мать, не веря, что той не станет,

они же верили в воскресенье, правда
верили в воскресенье, и рабби Меир
бен Барух, и рабби Яков Халеви,
и что в Судный день, разбуженные, пойдут

по этим улицам, мимо этих башен и этих
кафе, отражаясь в витринах, вон к тем
капитанам и дальше, покидая город, в котором
лишь пустая машина ждёт меня на стоянке.

4 сентября 2006 г.

* * *

А. О.

Тосковать по тебе, целый день изучать расписанья
поездов, самолётов — которые в нашей судьбе
так участвуют, как в ней и боги, наверное, сами
не участвуют, что им до нас, тосковать по тебе,

и смотреть на белёсое небо в осенних разводах,
и на мокрые статуи в парке, на этих беспечных богов,
что, конечно, свели бы нас вместе, когда б им угодно
это было, быстрее самолетов, скорей поездов,

и под сенью огромной, щербатой и матовой Музы
тосковать по тебе, не моля никого ни о чём,
вспоминая тот жар и тот взгляд, потрясённый и узкий,
твоих глаз с их тигриным, почти нестерпимым огнём.

25 октября 2006

* * *

То, что было жизнью, разыгрывается на сцене, на полусветлой сцене, внутри нас, то, что было жизнью, выходит на сцену из-за смутных кулис, смеркающихся деревьев, из-за колонн с огромным, за ними, небом, свечением неба на заднем плане. Всё это было так незначительно и случайно, когда-то жизнью всё это было, наброском пьесы, куда-то шли мы сквозь тень и солнце, скрещение реплик, сквозь ожидание, всегда, иного, почти не глядя на себя из будущего, не думая, что на самом деле строим в себе эту сцену, где то, что было жизнью, разыгрывается всё снова и снова, те же слова и жесты повторяются, с каждым разом всё отчетливее и лучше, как будто воздух проникает в них понемногу, свечение неба переполняет их. Колонны стоят всё так же, и деревья не движутся, и те, с кем шли мы, не двигаясь тоже, идут, уходят.

13 января 2007

Мост

Его нет, когда мы летим по нему, он вдруг
становится, когда съехав с автострады, мы под
ним выходим из машины. Его
быки глядятся в воду, склонив
небо над нею.

Здесь, где римляне плыли на узких своих галерах,
мир превращая в город, где монахи варили пиво
и верили в Аристотеля, где купцы
из Киева торговали
мехами, рабами —

здесь холмы и долину берёт он в свои бетонные
скобки, с тевтонской яростью перелетая
из прошлого в будущее. Река
оробев протекает сквозь
его отраженье,

тихонько всплескивая руками своих русалок.
Он слишком огромен для этого мира. Сей горный
гул говорит не о прощенье и не
о любви. Валькирии мчатся
и Перуны проносятся

над нашими оглушенными головами, над ни
в чём не повинными вербами с их голубыми
и белыми кошачьими лапками на
воскресном, влажном,
весеннем ветру.

29 января 2007

Веденец

Венеция, Веденец, весть воды...
Венеция, видимость, всё неправда
в тебе, Венеция, весть о том, что
когда-то было, прошло, пропало,
как разошедшиеся следы
за вапоретто, о том, что толпы

туристов ищут, галдя и глядя
на маски, майки в витринах, сами
уничтожая всё то, что ищут.
Венеция, Веденец, голосами,
всегда звучащими где-то рядом,
шагами, шепотом, глуше, ближе,

ты окружаешь нас, как судьба
нас окружает, или эпоха,
где тихо тянется твой конец.
Закат, забывшись, глядится в окна,
волна рассчитывает удар
о пристань. Веденец, леденец,

смываемый морем, уже не сладкий,
анисовый вкус на губах у горя,
всегда всамделишного, кто б ни
шёл с ним под руку мимо Torre
dell' Orologio, кто б на San Marco
ни выходил с ним. Мы здесь одни

в толпе, во времени, в тонком свете.
Венеция, Веденец, веди, буки...
Глагол добро есть. Твои дворцы
в строке канала стоят, как буквы,

и блики солнца бегут, как дети,
венецианские сорванцы.

И всё неправда в тебе, всё только
обман, глядящийся, повторяя
себя, в прозрачную темноту.
Венеция, не виденье рая —
пусть не благая, скорей блажная, —
но весть, ведущая нас по кромке
воды, по выгнутому мосту.

Прощанье

Со скоростью звука,
со скоростью сна
приходит разлука,
приходит весна.

Всё тает и тает —
и счастье, и снег.
Душа получает
разгон и разбег.

Со скоростью света,
со скоростью тьмы.
Не плачь и не сетуй
на краткость зимы.

Он был или не был,
тот белый покров
под куполом неба?
Со скоростью слов,

со скоростью боли,
воды и огня —
душа из неволи
выводит меня.

7 марта 2007

* * *

Уходишь, уходишь в несметной толпе,
по улице, в никуда.
Здесь каждый, как мог, любил и терпел,
и шёл сквозь нет и сквозь да.
Дорожных знаков, кружков и стрел,
лес. Шпили, и провода,

и светофоров изменчивые огни.
Всё это здесь, сейчас.
Тормоза скрипят, и трамвай гремит —
скрипки и контрабас.
Знакомые тени стоят одни
у вечных концертных касс.

Так дни проходят, ночи спешат
куда-то — скорей, скорей —
и катится счастья стеклянный шар,
и каменный шар скорбей.
Но важно лишь то, что твоя душа
сквозь смерть говорит моей.

9 марта 2007

Дождавшись варваров

Мы выжили. Уже весна,
песок и пыль на тротуарах,
и даль прозрачная видна
в проёмах чудотворных арок.

Не слышно выстрелов, гремит
лихая музыка повсюду.
Недодобитых Аонид,
опять готовых верить чуду,

четырёхстопный ямб, как встарь,
влечёт и нежно оживляет.
Тепло. Бензиновая гарь
над городом тихонько тает.

И варвары проходят, не
дивясь, по набережной, мимо
всё тех же сфинксов, в том же сне,
с улыбкою неисследимой

глядящих — прямо в никуда,
где вековые отраженья
не в силах унести вода,
в своём торжественном стремленье.

И — эхо пролетевших бурь
(мы их, увы, призвали сами),
и флорентийская лазурь
над петербургскими дворцами.

30 марта 2007 г.

Элегия

Покидая город, в котором
ты не был счастлив, включаешь
в машине радио. Саксофон
провожает тебя в последний

путь по ещё привычным
улицам, мимо знакомых башен —
и ввинчивается в клокастое
небо над крышами, в не-

здешнее небо над россыпью
светофоров. Прощай же,
прелестный город, в котором
я счастлив не был. Прощайте,

бульжные улицы с жёлобом
посредине, и ты, дремучий,
двуглавый собор со всеми
твоими химерами, ты, река,

стеклянный рев плотины, и те
аллеи, в которых моих шагов
остаётся шелест. Я всё-таки
жил здесь, ходил здесь, в этом

покидаемом здесь, я здесь
был моложе, я знал
дружбу здесь — и узнал измену
друзей, я вблизи и ближе

видел, с тазиком и шприцом
в не дрожащей руке, у края
больничной койки, с чужой
и милосердной улыбкой, смерть.

Покидая город, в котором
ты счастлив не был, включаешь
радио. Всё случайно
в жизни, в общем, как эта

музыка — мог быть Моцарт.
Лишь саксофон продолжает, то
почти затихая, то вновь взрываясь,
в нездешнее, над домами,

над железной дорогой, над белыми
ангарами магазинов — ему
не внемлющее, кто знает —
небо ввинчиваться. Большие

лица реклам тебе смотрят
вслед, и прогорклым маслом
пахнет, у самого выезда
на автостраду, «Макдональдс».

Шагающий египтянин (5 династия)

*Denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht...*

R.M. Rilke

Его присутствие ужасно.
Он здесь, как мы с тобою не
умеем быть, как мы напрасно
старемся в скользющем сне,

в сквозящем сне, в земном пределе...

Он здесь, как будто он всегда
здесь был — а он и в самом деле
так долго здесь, что города,

с их площадями, их церквами,
музеями, в которых он
бывает выставлен — едва ли
пред этой бездною времен

не начинают гаснуть, таять,
иль так нам кажется — и вдруг
сквозь них всегдашняя, нагая
видна земля, и лес, и луг.

Куда идёт он? Мы не знаем.
Он так уходит в никуда,
как будто там, за самым краем
земли — другие города,

где всё другое, всё иначе,
где мы другие, мы не те,
кто здесь стоит, так мало знача
в своей привычной пустоте.

А пустота в его глазницах
нас видит, и его рука
легко летит, и вдаль стремится,
в даль, что и вправду — далека.

Так быстро он уходит, что мы
уже глядим ему вослед —
в тот мир, воздушный и огромный,
где он всегда и где нас нет.

24 июля 2007

* * *

Где-то север, где-то Оять,
где-то Ладога, и Свирь.
Чтобы сердце успокоить —
синеглавый монастырь.

Там я ехал, там ты едешь,
там, всё дальше, без меня,
там, где белые медведи
под уздцы берут коня.
Там текут живые реки,
льдам и снам обречены.
Там с кайлом ходили зеки,
дети ласковой страны.

Ходят люди, ходят тени,
ходят призраки и сны,
убиенных поколений
ходят гордые сыны.
Славной вохрою бессменной
восседают валуны.

Куполов сияет золото,
облаков горит рядно.
Будет музыкой когда-то
всё вокруг озарено.
Будет словом всё раскрыто —
в дивных отблесках окно —
будет золотом расшито
чистой жизни полотно.

Будет небо, будет нега,
будет воздух и простор,
с полужвука, без разбега
самый главный разговор...

Из каких небесных ризниц
выходя на светлый двор,
будут все мгновенья жизни
на тебя смотреть в упор.
Всё, что мы любили прежде,
будет снова, навсегда.
Неизбывнее надежды
эта серая вода.

27 июля 2007.

Елец

За рекой начинается дикое поле,
где несметные призраки бродят на воле,
то ли половцев тьмущие полчища, то ли
окаянные души, что бродят на воле.
За рекой начинается дикое, дивное поле.

И не выдержать городу натиска — этим
деревянным, несчастным домишкам и клетям,
что охвачены ветром, как воплем и веком,
неизменным, степным и горячечным ветром,
без пощады бегущим по крышам, и клетям,
по несчастным деревьям, вон тем и вот этим.

Это я здесь иду, среди душ проходящих,
за собой не зовущих, незрячих, не зрящих,
среди страхов и криков, как в рощах и чащах...

Всё же счастье поёт среди пыльных развалин,
что не сжёг печенег и татарин оставил,
богдыхан не заметил за выделкой стали —
потому что я здесь, потому что печален,
потому что смотрю в эти грозные дали,
из которых я сам, где меня не поймали.

А Елец не елейный, Елец не келейный —
кособокий, зелёнозаборный, согбенный,
побеждённый, прекрасный, забытый, блаженный,
где тюрьма на горе и расстрельные стены,
под которыми бьют и в чужих, и в ничейных,
всё палят и палят и в своих, и в ничейных,
из «Максимов» палят, да из ружей линейных,

из винтовок в рябые, расстрельные стены,
под прощальным закатом, вскрывающим вены.

И куда же вы, души, куда же, куда же?
Умирая в неволе от боли и жажды,
умирая на воле от кривды и тяжбы —
кто вас гонит, скажите, куда же, куда же?

Только церкви встают среди хлева и хлама,
не избегнув судьбы, не сдержав Тамерлана,
и остатки пронесшегося урагана
полыхают, как рана, не ведая срама,
да мерцают иконы в безлюдии храма.

Разговор с философом

Мы все стремимся к тому, что на самом деле есть, говорит он, чуть-чуть шепелявя, как все греки. Только где оно? Где оно? В парке, где мы сидим с ним, туман стоит за деревьями, светясь на солнце, и купола, и шпили в осеннем небе видны так ясно, словно кто-то нарисовал их две минуты назад, и сверкая на солнце, вода из чаши фонтана спадает в другую чашу, и очень черная, не очень большая, на ободке верхней чаши, ворона плещет крыльями, и брызги тоже вспыхивают на солнце. По-прежнему шепелявя, произносит он большие слова, бытие, и познание, и прочее. Большие, пустые сосуды. Но он прав, и есть страсть в его голосе, и мы все стремимся, в самом деле, к тому, что на самом деле есть. Только где оно? Где оно? Мы уйдём из парка, и брызги погаснут, говорю я. В какой Элладе искать его? Какое солнце должно быть? Какие тени на обезумевшей белизне? Парапет и море за ним? Только боги безгрешны. Без Греции — грешные мы. Никакой нет Эллады. И значит, остаются воспоминанья, остаются, конечно, слова. Остаются статуи слов на террасе, их синие тени, остаются, говорит он, шаги, приближение смысла...

15 октября 2007 г.

Moscow revisited

В основном всё как было — бессолнечные дворцы.
Сколько-то новых башен прибавилось к Вавилону.
Орфей всё ищет свою Эвридику в аду метро,
среди серых толп, уезжающих в вечный скрежет.

Прекрасна, конечно, осень, покойный свет.
Осень ведь всякий город делает захолустьем.
Тишина проступает сквозь крик и грохот,
как пятно от лампочки проступает на абажуре.

Здесь кровь сочится из-под камней, здесь дядя
Джо шевелит усами кремлёвских стрелок.
В пустыне окраин океанские корабли,
светясь, проплывают фата-морганой. Как же

всё это хочет — быть, и не может, стремится — быть,
и не может, старается, безуспешно.
Отраженья в реке убедительнее домов,
отраженных в ней, с их шпилями и гербами.

Но прекрасна, еще раз, осень, огромное захолустье,
всякий раз побеждающая столицы, и эту тоже.
Аллеи бульваров уходят в совсем другую
перспективу — то ли в прошлое, то ли в самих себя.

Что бы ни было в жизни, ты вечно будешь
сидеть под тем абажуром, давно истлевшим.
Те, кого ты не встретишь, идут здесь тебе навстречу,
и время поёт свою песню под шелест листьев.

Сентябрь — ноябрь 2007

Кассидий

Все так ясно видишь сразу после
купленных утех, в четвёртой книге
«Комментариев», совсем внезапно,
говорит Кассидий. Между миром
и тобой, на миг, твоё желанье

не стоит. Ты смотришь прямо: вот он,
мир. И, говорит Кассидий, горек
взгляд твой, этой горечью — отраден.
Люди здесь проходят пред тобою,
люди, лица, то есть складки кожи,

и морщины, говорит Кассидий,
кадыки, чудовищные шеи,
под глазами бряклые мешочки,
то есть вислые зады и груди,
на ногах прожилки и мозоли.

Все хотят чего-нибудь другого,
говорит Кассидий. Все несчастны.
Страсть их гонит, страх и ожиданье.
Ты жалеешь их, ты видишь ясно
их скелеты в будущих могилах,

череп с бездонными глазами.
Вечер между тем уже ложится
на ступени храма, затихает
форум, из метро несется влажный,
затхлый запах, пьяница привычно

жизнь бранит. А там темнеет небо,
нежною, глубокой синевою,
и печаль рыдает в переулке,
и мечта идёт на приступ счастья,
что над ней, с высот своих, смеётся.

23 ноября 2007 г.

Ветки

Тени веток на стене огромной церкви,
где-то в Мюнхене, колеблемые ветром.
Очень холодно, разорванное небо
светится над крышами, не слышно
ничего, лишь звук шагов, моих же.
Я бы счастлив был, когда бы верил
в Бога так, как верят эти ветки...

* * *

Всё-таки есть и чужие стихи, ты не
совсем одинок на вдруг зазвучавшем свете.
Кто-то увидел тоже, в другом, но похожем сне,
эти ночные дороги и горы эти.

Дальнего зарева пойманный отблеск, взгляд
из окна вагона в дивную глубину ландшафта.
На краю обрыва деревья всегда стоят,
как могут, не рассчитывая ни на какое завтра.

Как хорошо! Какой наступает вдруг
покой. Словно проснулся в другом, позабытом веке.
От строк и от век твоих на мгновение бежит испуг.
Декабрь стоит за окном, всё в иное, крыши, ветки.

24 декабря 2007

* * *

Вдруг, на миг, из облаков —
солнце, сноп холодных искр.
Так внезапно из-за слов,
окончателен и быстр,

смысл является, и мы —
каждый посреди своей
собственной, большой зимы,
ледяных и снежных дней —

изумлённые стоим,
этим смыслом не согреты,
но зажмурившись от света,
побеждаемые им.

17 января 2008

Новое солнце

Всё это мчится, несётся, стремится,
люди летят, пролетают их лица,
страстью и яростью искажены,
что-то ужасное хочет случиться,
сбыться стараются худшие сны.

Слов очень много, слова отовсюду
лезут, не веря ни смыслу, ни чуду.
Рифмы взрываются, им всё равно,
значит ли что-то их звонкая удаль.
Горе беззвучно ложится на дно.

Как это было, не спросит потомство...
Только в чердачное, где-то, оконце
луч залетает, не зримый с земли.
То начинается новое солнце.
Новое солнце восходит вдали.

Всё еще так же, всё еще то же,
свет беспросветен и воздух ничтожен.
Всё ни о чем говорят города.
Тени, и той не оставит прохожий,
вечно идущий в своё никуда.

Но уже есть это солнце, о коем
мир и не думает. Тайным покоем
нас наделяя — всё-таки есть,
скрытое дымом, и воплем, и воем,
новое солнце, грядущая весть.

26 января 2008

Перекрёсток

Порядок движенья, прямо или направо — на зелёный свет, но те, что хотят налево, пропускают встречные машины. Затем загорается стрелка, не успевшие повернуть поворачивают, намечается тот пункт, которым, в школе вождения, прочерчивают дугу поворота. Затем всё то же, но из другой улицы, пересекающейся с первой. Порядок, вообще, успокаивает. Окно разрезано белой рамой. Перекрёсток и крестовина. Белая церковь за белой стеной пожарной части, дальше, справа — дома. Дома построены явно после войны, но сразу после, то есть, в общем, бараки, бледно-болотные или бледно-розовые. В одном — магазин электрических и электронных товаров, компьютеры, вентиляторы, пылесосы. Пешеходов нет. На автобусной остановке — женская согнутая спина. Безлиственные деревья, тени их на асфальте. Порядок теней успокаивает, разумеется, тоже. Светофоры переключаются, машины без водителей и пассажиров, но каждая со своей тенью, едут и тормозят, повторяя одну и ту же схему, направо, прямо, налево. Что за этой картиной? Быть может, тот, кто смотрит, смертельно болен, или несчастен без всякого повода? Мы никогда не узнаем. Мы видим лишь перекрёсток, разрезанный белой рамой, и бездонное злое небо.

14 февраля 2008

* * *

В том городе были — бывали — сумерки
совсем сиреневые, как будто
Моне писал их; осенью, поднимаясь

над крышами, на востоке, дым сахарного
завода отсвечивал всем, что с запада
светило в него, всем розовым,

лиловым, красным, и казался, по прихоти
ветра, то вопросительным,
то восклицательным знаком над

улицами и жизнью. Мне нравилось
смотреть на город, вечером, с одного
из островов на реке, откуда

он был виден весь с его башнями,
зубцами стен, черепицею крыш, повернутых
каждая в свою сторону.

Было тихо на острове, дальний шум
машин на мосту почти не
напоминал о настоящем. Река

повторяла что-то своё, понятное только ей.
Я прожил в этом городе пять —
худших — лет моей жизни.

2003 — 2008

18 мая 2007

Попробуем быть счастливыми, выйдем где-нибудь,
рано утром, в городе, где с тобою
мы до сих пор не бывали, на улицу или площадь,
с гусиной кожей теней и большим фонтаном.
Попробуем быть счастливыми, здесь, с тобою.
Пусть часы разбивают время, и смерть химерой
глядит с собора — мы всё-таки не одни здесь.
Потому что тени и призраки где-то, я знаю, рядом.
Потому что души летят нам навстречу, легки любовью.
Потому что ангелы смотрят сверху
на те же красные крыши, лотки с черешней.
И солнце серебряные монеты
бросает в реку, чтобы еще вернуться.
Все дороги ведут домой, говорит Новалис. Все улицы,
наверное, тоже.

Мюнхенский дневник (часть 1)

* * *

Представь себе, как это было впервые.
Конечно, всё было не так, но представь
себе, что кто-то однажды дал
дням числа, как бы их имена. Какой вдруг
восторг охватил его, он вскочил,
наверное, на ноги, в своём Вавилоне или
в своём Египте. Он сказал себе: пусть
дни проходят, но числа ведь остаются,
и значит всё не так уж и безнадежно.
Приветствую тебя, мой давний брат,
не победивший время, но крепость всё же,
но всё ж фортецию поставивший ему.
Ты так в ней и сидишь, счисляя звёзды,
сидишь, сейчас, в давно прошедшем дне,
укрытый в нем какой-то цифрой, нам
не ведомой, как я укрыт двадцатым февраля
две тысячи восьмого года (ветер, ветки).

* * *

Здесь, в книжной лавке, где я перелистываю
посмертный дневник Эудженио Монтале
(прообраз моего, прижизненного? нет, разве
отчасти), здесь было бы тихо, если бы
под окнами, в оранжевых фуфайках, рабочие
не клали асфальт. Ужасен их труд и жребий.
Ужасен шум их жизни, такой далекий
от тишины этих слов на белой большой странице.

* * *

История не закончилась, но смысл ее погиб.
Он бился в судорогах на цементном полу,
он закрывал руками затылок. Затем, когда мы
вышли на улицу, там оказалось солнце,
лазурь, и ветер, и мифология облаков,
и чудные жёлтые листья, летящие по бульвару,
и даже намёк на счастье, за краем жизни.

* * *

Из окон поезда видишь молчащий мир,
видишь молчанье полей, молчанье
леса на горизонте, клубящееся свеченье
неба, два дерева, замершие под ним.
Природа есть одиночество. Нет, вернуться
скорее в город, выйти на главную улицу,
на Мариенплац, на Максимилианштрассе,
туда, где, по крайней мере, ответ возможен.

* * *

Бессонница оставляет тебя умирать
от жажды, не у ручья, скорее на берегу
очень солёного, мёртвого, в общем, моря.
Ты бы и бросился в воду, заснул бы, если б
мог напиться, но напиться нечем. Песок
полыхает на солнце, в дрожанье зноя
жизнь проплывает бездарной фата-морганой.

* * *

В их лицах всё уже есть, вся скука
их грядущей жизни, хотя ещё ни
одной морщинки. О чём-то они толкуют,
толкаясь в автобусе... Грехопаденье
было, должно быть, таким громадным,
что даже звёзды на небе содрогнулись.

* * *

И когда мы лежим обнявшись,
мир кажется вынесенным за скобки
наших тел. Вот так же нет его на странице,
исписанной прозой или стихами. Белые
поля отделяют нас вдруг от мира, сонный
Элизий, облачные пространства,
где следы наших мягких шагов, незримые, остаются.

* * *

Ты научила меня чему-то, чему названья
я не знаю. А жизнь ведь и вообще состоит
из безымянных вещей,
из поворотов души, за которыми
открываются, как в парке, тропинки или пруды
с ротондой на берегу. Вот туда-то,
сквозь солнечную рябь, и пошли мы.

* * *

Голоса в трамвае охватывают меня.
Один из тех дней, когда я не знаю, что мне
делать с моей свободой. В окнах
проплывающих мимо домов проплывают
другие дома, их крыши, фронтоны, трубы,
их мёртвые окна, лишённые отражений.

* * *

Парк, в самом деле, есть перевод души
на язык деревьев, прудов, тропинок,
и этих гнутых мостиков, где, склоняясь,
мы видим среди перевёрнутых
вётел и в облачном свеченье свою же
изумлённую голову. Щепки, веточки,
листки плывут сквозь неё, как дни
сквозь то неизменное, что мы зовём собою.

Стансы

Какое дыханье у этой страны,
послушай — дыханье какое.
Дыханье, которому обречены
и души, и слово живое.
А поезд проехал уже Бологое,
и сосны мелькают, как старые сны.

Великая степь, необъятная сушь,
Китая скитанья в Европе,
империя засух, монархия стуж,
без гатей неправые топи.
Я в тамбуре еду, я чаю не допил.
Мелькание сосен, мелькание душ.

Дыханье, дыханье у этой страны...
Как дышат огней океаны,
как дальние замыслы обнажены.
Беглец, возвращенец незванный,
куда-то я еду сквозь серый и рваный
размах начинающей плакать весны.

Твердишь, забываясь, про веру и Тверь.
В Твери, где скрывался отец мой,
отбив свою ссылку... Безмерная серь
и ширь обступают нас с детства.
И некуда, в общем, податься и деться
от этого счастья и этих потерь.

Громады Батыевых орд бытия,
пол-Азии возле вокзала.
Куда-то я еду, наверное — я,

всё было, прошло и пропало.
И всё начинается, знаешь, сначала,
как воздух, и воля, и век, и земля.

11 марта 2008

Дижонская живопись

Дижон ждет герцога, а герцога, конечно,
нет, и не будет, и не может быть.
Упрямо и надменно костенея,
Дижон ждет герцога, а герцогство погубило

давным-давно, всё изменилось, мир
не узнаёт себя под новым небом.
Но он всё ждет, безводный, бездревесный,
сожжённый ожиданием, серым солнцем,

сверкающим на плитах. Все фасады,
дворы, решетки, ставни, вензеля
и львы, и камни все, белея белизной
невинности и смерти, ждут, всё ждет.

(У входа в засыпающий музей
засох колодезь, лишь, на дне его, монеты
поблёскивают тускло...). Жениха
загробная невеста ждёт вот так,

всей вечной верностью, всей вечностью терпенья,
молчанья и любви.
Вдруг он въезжает со своею свитой.
Кто? Герцог? Герцог. Герцог на коне.

Филипп ли Добрый, Карл, быть может, Смелый,
издалека не разберёшь, он едет, тихо,
и горестно, и гордо глядя на
ликующие толпы. Всё бежит,

всё оживает, все фонтаны бьют.
Всё красное и синее, плащи
и шляпы (с перьями, конечно), всё кричит.
И вот я сам, придворный живописец,

в углу картины, человек в толпе.
Лишь взгляд мой выдаёт меня, я вижу
углы, и линии, другие перспективы.
Толпа теснит меня, а всё ж вокруг так много

внезапного пространства, дальних планов,
и облаков, как будто кто-то сверху,
не удивляясь, смотрит на всё то, что
сбывается, так просто, здесь, сейчас.

12 апреля 2008

Адольф

В шесть лет моя любимая игра
была «в Адольфа» (Гитлера, конечно).
Я знал, что он злодей, что самый главный
«фашист». И потому играл в него — назло
несчастливым, ужасающимся взрослым.

Война закончилась тому назад лет двадцать,
чуть больше, но ещё воспоминанья
кровоточили. Я звонил ему
по чёрному большому телефону,
болтая, разумеется, ногами,
ещё не достававшими до пола.
Я говорил, как взрослые: «Адольф?
Ну, как дела сегодня, хорошо ли
ты спал, мой друг?» Затем я становился
Адольфом сам. «В Берлине все прекрасно».

Так я входил в историю, так падал
во время. И значит зло меня уже манило,
я с ним заигрывал, уже ему в глаза
старался заглянуть. Я не был злым
ребёнком, но соблазн уже бродил
во мне, по жилам, быстрою усмешкой,
щекоткой счастья.

Были за окном,
я помню, ветки, вечный шелест их...
И тени проходили сквозь меня,
я их не чувствовал, но тени проходили,
сгущались, двигались, железо скрежетало,
и солнце бомбой падало на землю.

18 мая 2008

Слова, солдаты

Слова — солдаты, им любо стоять во фронт,
как на сенатском снегу. Впрочем, стоять недолго.
Что-то должно начаться, парад, поход ли,
должно случиться, пушки уже палят,
и литавры грохочут солнечным смелым блеском.

Слова — солдаты, они заступают слева,
ровняя строки, им весело, им не страшно,
и трубы поют над ними, и ветер гудит в деревьях,
и облака несутся наперегонки друг с другом,
и времени очень много, время до скорой смерти
длится, в каждой строке, не думая о последней
точке, которой нет, которой и быть не может,
но есть лишь это движенье, поход, парад ли,
это большое движенье, растущее с каждым словом.

Март — июнь 2008

На Кампо ди Фьори

Памяти Чеслава Милоша

И я был на Кампо ди Фьори,
где сожжённый Джордано Бруно
стоит посреди весёлой
и очень живой толпы.
Здесь так же торгуют рыбой,
фруктами и цветами,
как торговали, едва лишь
после казни погас огонь.

Ты вспомнил о нём в Варшаве,
в великом стихотворенье
сорок третьего года,
глядя на карусель,
кружившуюся так славно
под бойкие звуки польки,
что заглушала залпы
за ближней большой стеной

гетто. На Кампо ди Фьори,
когда кончается рынок,
водою из чёрных шлангов
торговцы смывают сор
времени и страданья.
От тех сожжённых и этих
ничего не осталось, кроме
памятников и слов.

Об одиночестве в смерти
ты думал, глядя, как пары,
прижавшиеся друг к другу,
взлетают в небо, смеясь,

как хлопья сажи из гетто
приносит весенний ветер,
и кто-то их лихо ловит,
как бабочек, на лету.

От этих-то что осталось?
Они ведь сгнули тоже.
И одиночество в смерти
настигло их без труда.
Таверны еще открыты,
и пиццу с фруtti ди mare,
ни в чём не повинный немец
запивает алым вином.

Слова приходят оттуда,
куда каждый уходит молча.
Язык наш чужд уходящим,
и слов у них нет для нас.
А всё же слова приходят,
бесстыдно и беспощадно,
мы ловим их — хлопья сажи
на пересохших губах.

И что же мне делать с ними?
Ты видел, а я лишь помню,
сидя на Кампо ди Фьори
мартовским мирным днем.
Дома обступают площадь,
и залетевши с Тибра,
одна голодная чайка
кружится и кричит.

Джордано стоит, надвинув
капюшон на глаза — он видит

другие миры, их много,
их непостижима связь.
Огонь, взлетающий в небо,
смеётся, бьётся, ярится.
Ведь Кампо ди Фьори всюду,
всюду и навсегда.

3 сентября 2008

Три камня

А.О.

Три камушка, поднятые тобою,
на берегу зелёной реки, когда ты
там сидел с Александрой, мы знаем имя,
в счастливый, летний, куда он делся?
день, не спрашивай, мы не знаем,
где он, но где-то он есть, должно быть.

Три камня, подобранные тобою —
мы смотрим теперь на тебя, как ты на
наши линии, крапины, наши пятна
и письма. Ты думаешь, как бы
прочитать нашу весть. Ты берёшь нас
в руку, согреваешь в ладони, ты нас

подбрасываешь, сколько хочешь
подбрасывай, нам не больно, нам даже
это нравится. Ты слушаешь сей сухой
стук, к которому мы привыкли,
который нам музыка. Твои пальцы
знают нас лучше, чем ты нас знаешь.

Ты думаешь о твердом и мягком,
о китайской, якобы, мудрости — надо быть
твердым внутри и мягким
снаружи. Это так, ты думаешь,
и не так. Ты думаешь о смягченье
сердца, без которого нет стихов.

Мы же думаем свои мысли, слишком
сложные для тебя. Ты думаешь

о том, что внутри нас, о неизвестных
странах внутри нас, где тоже реки,
где тоже двое, в счастливый, летний
день, сидят, обнявшись, у быстро-зелёной

воды. Вода несётся через пороги,
вода приносит другие вести,
стихи набегают на низкий берег,
в них снова слышится Александра,
мы знаем имя, три камня, что ты
выбранный нами, выбрал из многих тысяч.

14 сентября 2008

Мюнхенский дневник (часть 2)

* * *

Ничего ещё не закончилось. Новый век ходит по улицам, заглядывая в витрины и лица. Он пытается к ним привыкнуть, но привыкнуть не может. Он уже не младенец, уже мальчишка, уже начинает думать и удивляться. А всё ведь и вправду странно. Странно, что всё продолжается, как ни в чём ни бывало, продолжают улицы, даже сны, старые страсти, глупости и надежды. Вдруг небо густеет, он прячется от дождя под аркадами, он слушает шелест капель в стократно зелёных от влаги июньских листьях.

* * *

Утешительный город, мосты его и трамваи...
Полуиталия, значит — возможность счастья.
Ангел мира, взлетающий над рекою,
помнит, конечно, руины, обугленные дома.
Всё это светится и ничего не хочет,
ни от живых, ни от мертвых, ни от века, ниоткого.
Необязательность жизни, отблески, тени, блики.
Мягкий певучий воздух, горы на грани зренья.

* * *

Здесь, где город кончается, на мосту,
видишь, с одной стороны, дома,
и башни, и шпили, и много ещё всего.
Ничего не видишь с другой. В другую

повернувшись сторону, видишь одну лишь реку.
Видишь её излучины, отмели, камни на
отмелях, видишь её стремнины,
и эту немую даль. Вот так я стоял над Свирью.
Откуда она течёт? Из каких пространств? Из какого
прошлого? Так равнодушно течёт она. Из
какой чужбины и родины? Степь и глушь
всегда, разумеется, рядом, Евразия за углом.

* * *

Глаза его маслянисты
и лживы. Никакой он, небось, не нищий.
Но всё, чего он желает, проходит мимо.
Какие проходят груди, какие попки,
как колышутся бедра, жизнь невыносима.
И богатство проходит мимо, богатство, вовсе
не замечая его, уезжает на «Ягуаре».
Улыбки проходят мимо, слова и взгляды.
Потому он беден. Он сидит на своей картонке,
совсем не Будда, под языческим ясным небом.

* * *

Настоящей жизни уже точно не будет — пусть.
Пусть продлится ещё вот эта, хотя бы эта
ненастоящая жизнь. Вот эти велосипеды,
свалившиеся от ветра, упавшие друг на друга.
Как топорщатся их рули, вращаются их колёса.
Всё, конечно, не так, но лишь бы еще продлилось.

* * *

In angulo cum libro... Конечно, слова, слова
на чужой бумаге, чужие, неважно, чьи-то,

на чужом языке, пускай, но важно, что — вот,
слова. Всё очень просто, все
загадки разгаданы, сомненья разрешены.
Cum libro in angulo... Свобода, слова, никто
сидит, не сидит здесь, точно не ты, вот эти
только слова и есть, на чужой бумаге, твои же.

* * *

Прежде поезда на станцию входит ветер,
ветер взметает причёски, платки и мысли.
Где-то над нами сияет, быть может, солнце,
но здесь внизу только ветер, несущийся из туннеля.
Всё очень обыденно, никаких, дружок, аллегорий.
Мы просто сейчас доедем до станции «Одеонс-
платц», и выйдем на улицу, где солнце бежит по кронам
деревьев в Дворцовом саду и в Английском парке.
Вон там, смотри, Аполлон, вон там его колесница.

* * *

Повторяются улицы, повторяется тишина.
Всё какое-то брошенное сегодня, дома и мысли,
какое-то отвернувшееся. Всё было
когда-то новым и когда-то впервые, когда-то —
было. Бывшее всё стоит
посреди настоящего, не становясь им, разве
дождь пойдёт, наконец, будущее настанет.

* * *

Ничего прекраснее поезда, летящего в глубине
улицы — как внезапно он возникает
из-за домов, не успевающих удивиться.
Поверх всего и всему же наперерез,

ни с чем не соизмеримый, слишком
большой и быстрый в медленном мелком мире,
несётся он, отменяя шаги и мысли
прохожих, отменяя машины, кафе, деревья,
сохраняя всё это, в перевёрнутой глубине,
куда мы смотрим из его же окон, с другой
стороны бинокля, на миг, из другого времени. Весть
неизвестно откуда, из небывалых стран,
раскаты дальнего грома, Зевесов зов,
которому мы не верим, боимся поверить, разум,
упорствует, сомневаясь, но — вот он, вот он,
несомненный, как лучшие наши строки,
неотменяемый, как удачнейшие слова,
вот он, разбойным свистом сотрясающий виадук
и воздух над виадуком. Солнце лишь неподвижно.

Одна душа

У моего прапрадеда была
(я вычитал в архивах) в Костромской
губернии, при Николае Первом
(в конце сороковых или в начале
пятидесятых, может быть, годов) —
тридцать одна (конечно: крепостная)
душа. Тридцать одна — не тридцать. Тридцать душ —
всё с ними ясно. Тридцать душ пахали,
пололи и косили. Но — одна?
Одна душа — что делала? Одна
душа есть тайна. Я о ней всё снова
и снова думаю. Одна... душа...
Она из этих слов как будто смотрит
и говорит мне что-то... Прежде чем
в отставку выйти, кажется, служил
в полиции, о ужас! мой прапрадед.
Был даже раз отмечен государем
за то, что при каких-то торжествах,
в Москве имевших место, обеспечил
порядок образцовый. Был, должно быть,
суров мой пращур, правила имел,
усат был, к супостатам беспощаден,
царю служил за совесть, не за страх,
карал крамолу быстро и жестоко,
не сомневаясь и не рассуждая.
А впрочем, он мог быть совсем другим,
мог добрым быть, или несчастным, мог
быть пьяницей, картёжником. Никто
уже не знает, что он был такое,
Игнатий Макушинский, костромской
помещик и московский полицмейстер.

Был человек, конечно, небогатый
(тридцать одна душа — совсем немного,
богатство начиналось, говорят
историки, в ту пору душ со ста,
по меньшей мере...). Впрочем — всё равно.
Не в нём здесь дело, но — в одной душе.
Которой ведь и не было, наверно...
Ведь это только цифра, говорю я
себе, игра двух цифр и всё тут, никаких
загадок, никакой такой отдельной
от всех души. А все ж воображеньё
волнует этот звук — одна душа.
Одна душа... быть может, та, которой
я не нашёл на свете, или может
быть та, что незаметно поселилась
во мне, с моей в соседстве, с ней сдружившись,
томясь по прошлому, в мою перетекая.
Она и есть моя душа, конечно,
Психея, пленница, из крепостной неволи
стремящаяся вырваться — куда-то,
куда-нибудь, в другие времена,
иль в чистый горний свет... Осенний день
за окнами раскрашивает липы,
проходят призраки, легко, сквозь тень и солнце.
Никто не знает, кто он и откуда.

Сентябрь 2008

Элизий

*Я посетил тебя, пленительная сень...
Боратынский*

Страшный мир вокруг земного рая.
Но мы всё же едем, всё же едем.
Страшный мир, мятущиеся толпы,
электрички, лагерные лица.

Всё же оставляет на платформе
поезд — нас, как тридцать или сколько
лет тому, в смыкающейся, той же
тишине, где звук его смолкает,

медленно, за дальней тёмной рощей.
Вот он, рай, мой рай первоначальный.
Мокрый рай, простуженный и нищий.
Вот они, заборы и калитки,

лужи, ветки, крыши дач продрогших,
палых листьев волглое скольжение
под ногами, помнящими каждый
поворот дорожек и тропинок.

Но душа молчит, ей нету дела
до того, что происходит в жизни,
вот сейчас, с тобою, в мире этом.
У неё ведь есть воспоминанья,

неизменные, не знающие страха.
Что ей это мёртвое сегодня?
Ты идёшь, скользишь, ты смотришь, ясным,
равнодушным взглядом на всё то, что

не зывает, не кричит, что — вот он,
он — вернулся, он идёт по этим
сквозь всю жизнь протоптанным тропинкам.
Всё молчит одним большим молчаньем.

Не скрипят калитки, не выходят
даже тени из-под мокрых веток,
слишком сер, должно быть, влажный воздух,
призраки прозрачней, их не видно.

Здесь следы ведь не твоей лишь жизни.
Здесь её участники, которых
ты осенним днем уже не встретишь,
продолжают все свои прогулки,

бесконечные ведут беседы.
Никогда им не договориться,
не сойтись во мнениях, но — неважно.
Все, должно быть, всех давно простили.

Спутница твоя им не знакома.
Они смотрят, верно, с любопытством
на неё сквозь мокрядь и сквозь время.
Если б знак они тебе подали...

Подаянья, в сущности, мы просим,
мелкою монеткой, быстрым блеском
из-за тучи, острым птичьим вскриком.
Только редко к нам они снисходят,

или мы достойны снисхожденья
слишком редко, в лучшие минуты,
что нам всякий раз даются даром,
где-нибудь, не там, где мы их ищем.

Затеряться среди этих веток
этих капель, этих палых листьев,
затеряться здесь, забыть начала
и концы, исчезнуть... Нет? И ладно.

Тот, кем был ты, тоже, в общем, умер.
Здесь, не здесь ли, в неосенних рощах,
он идёт, с незримыми незримый,
ими навсегда прощённый тоже.

Потому и жив ты, что не держит
прошлое тебя в своих объятьях,
что ты можешь вырваться и выйти
из него на воздух и на волю.

Где-то море оmyвает профиль
озарённой городами карты,
весь, тобой открытый, полуостров,
убежавший из степей сарматских,

о котором ты мечтал на этих,
улицах, готовясь пробудиться.
Море бьется в скалы, в стены, в строки,
и в конце строфы, на миг, стихает.

2 ноября 2008

* * *

Уже бывают дни, когда я о тебе
не думаю. И эти дни проходят,
как все другие, шелестя своими
секундами, заглядывая в бездну
и ужасаясь, убегая от
увиденного. Дни уже бывают,
когда я тень твою не чувствую вблизи.

24 декабря 2008

Due poeti

Когда Элиот и Монтале
встретились в Лондоне после
войны, едва отгремевшей,
оставившей мир без крова,
ничего они не сказали
о стихах друг другу, ни слова,
о войне промолчали тоже,
призраков не тревожа.

Стихи говорили сами
друг с другом, без слов, словами,
лёгкими и литыми
рифмами, запятыми...

Я был при этом, я помню
очень точно, как это было.
Стихи говорили тихо,
величественно и скромно,
и отзывались эхом,
собственным мягким громом
в бедных, быстрых и блёклых
словах, и был дождь на стёклах.

И Лондон был беден, тёмн,
был сепией весь окрашен,
скелетом чернильной рыбы
торчали дома и глыбы
не срезанных небом башен,
молчали автомобили,
река замерла в печали,
и выжившие всходили

на Лондонский мост, как тени
не выживших (how many,
твердил про себя Монтале,
не думал я, что так много
теней здесь...). И был в отеле
старик-портъе, повторявший,
печально, нежно и строго,
что даже дни посидели
с тех пор, как убили Бога.

26 декабря 2008

* * *

Письмо несуществующему брату...
которого я так часто пытаюсь себе представить,
не рождённому младшему брату, лучшему,
чем я сам, лучнику моего детства, я научил бы
его срезать тот орешник, который срезал с другими,
и натягивать тетиву из лески, и делать стрелы.

Пусть он теперь стреляет в меня. Письмо
несуществующему брату, который один лишь помнит
то, что я помню, брату моей печали,
брату этого снега, падающего за окнами, очень быстро
и тихо, младшему брату, не Тео, но много лучше
меня, умнее меня, смелее, лучнику, письма тоже —

стрелы, тем более стрелы — строки, но как настичь
того, кто быстрее живущих, быстрее снега?
Всё то, что мы вместе помним, что будет навек забыто,
звонит и поёт за окнами, в комнате, в беспросветном
молчанье огромной жизни, где мест так много,
где мы с тобой можем встретиться, брат мой, брат мой.

20 января 2009

* * *

В дзен-буддистском монастыре,
где некогда я провёл
немыслимую неделю, по ту
сторону мыслей — всё

как было. Но мы заехали просто
так, с друзьями, никто не
ждал нас. Дверь была не закрыта,
и кто-то, похоже, был

внутри, но не было никого. Стояли
ровным рядом у входа
ботинки, туфли. Ни звука
не было ни внутри,

ни снаружи. Остатки снега
лежали ещё под елью,
и кошка шла по своим кошачьим
делам через мокрую,

мартовскую лужайку. Я всё-таки
заглянул в ту комнату, где
мы когда-то сидели. Пятнадцать,
примерно, Будд

сидели там неподвижно, всё
те же, всё так же.
Нужен молчащий, чтобы
увидеть молчанье, так

я подумал. Мы сразу же,
конечно, уехали.
Тишина осталась, огромней
леса и неба.

8 марта 2009

In memoriam Inger Christensen.
2 января 2009

*abrikostr erne findes, abrikostr erne findes
Inger Christensen: alfabet*

Есть, как ты писала, абрикосы.

Абрикосы есть, на «а», в начале
алфавита, сотканые солнцем.

Также есть зима, есть снег, есть этот
день, такой невидящий и хмурый,
низкобровый, посленовогодний,
не проснувшийся. Он есть, тебя в нем
нет. И есть молчанье, есть молчанье.

Абрикосы есть на самом деле.
Стулки солнца, каждый есть, конечно,
средоточье собственной вселенной.

Солнце слов над северной страной,
над страной, над снежною страницей.
Все слова горят, следы сияют.

Солнце, ты писала, есть затем, чтоб
мы его любили. Так, любовь есть.
Если ж нет, должна быть. Страсть — должна быть.

Только страстью держится всё то, что
держится, слова в строке, на ветках
абрикосы (или апельсины —
на афинской улице, к примеру,
где-нибудь в районе Колонаки,

где Акрополь виден вдруг, в начале
алфавита, за углом, в проёме
между двух домов, двух строк, над белой
бездной города, застывшего от счастья).

Юг и Север сходятся, как жизнь и
смерть в стихах, безмерные пространства
открываются за каждым поворотом.

Нас же ледовитым океаном
окружают неслова, бессловный
холод проникает и гнездится
в сердце. И молчанье есть, молчанье
есть, оно огромно, день проходит,
день молчит за окнами, не видя
ни меня, ни крыш, ни снов, ни снега.

Как я знаю этот мир молчащий,
этот мир недвижимый, льдины, льдины,
этот жестяной беззвучный воздух.

Солнце слов над северной и южной
белоснежной мраморной страницей...

Не молчи, не бойся, страх не страшен
страсти и словам, противься смерти.

Абрикосы есть и апельсины
тоже есть, в Афинах я их видел,
там, где алфавит всегда — в начале,
сгустки солнца среди тёмных листьев.

5 января — 18 мая 2009 г.

Горы над озером

Ничего, вдруг кажется, нету за этим гляncем,
этим молочным маревом, этой дымкой,
ничего, пустота без солнца,
провал и бархат, отсутствие декораций.

То, что для нас — картинка, для них — восторг,
и ужас, и возглас, и возрастанье
над собой, над снегом, даже над синевой —
в немыслимую синь, в преддверье

ни им, ни нам не ведомого рая,
в нездешний адский холод, в свет бессветный,
куда они стремятся вечно, тщетно,

лишь изредка бросая быстрый взгляд
назад в то зеркало, вдоль коего гуляя,
мы свой проносим рай, проносим ад.

21 мая 2009 г.

* * *

В саду Сезанна —
огромная
пиния. Что ты
знаешь, дерево,
о живописи, о стихах?

Сад разросся
с тех пор, как с порога
мастерской
он смотрел на твои вершины,
врастающие в лазурь.

Чистым золотом
смолы
живёт в тебе этот
взгляд, самый ясный
на свете.

Но всё-таки: что ты
знаешь, пиния, помнишь,
пиния? Ты горишь
на солнце, сгораешь в грозном
покое неба.

Ты счастлива,
как мы не умеем
быть счастливыми. Быть
тобой увиденными
стремятся слова.

19 сентября 2009 г.

* * *

В счастливом городе чужом,
где нам, похоже, были рады
бесчисленные водопады,
и водомёты и каскады
стеклянным сыпали огнём.

В счастливом городе — о чём
переговаривались с виду
безмолвные кариатиды,
земной не ведая обиды
и небо подперев плечом?

В счастливом городе, вдвоём,
мы потерялись и пропали.
Какие открывались дали
за поворотом и углом...
Мы будем жить, нам обещали,

в счастливом городе — потом,
в конце концов, в другом начале,
когда уйдут за окоём
неодолимые печали,
когда-нибудь, когда умрём.

24 октября 2009

Слава

Но представить себе, что он
ничего не знает о нашей
любви к нему, в самом деле
не видит памятников, не слышит,
как шелестят страницы, бегут
цитаты по улицам, в летний вечер.

3 декабря 2009

* * *

В четырнадцатом
году на Западном
фронте солдаты
перестали стрелять друг в друга,
в Сочельник, в первый день Рождества.

Младенец
смотрел в высокое,
внезапно тихое,
над окопами, небо.

Генералы
любили Ирода искренней,
сыновней любовью.

25 декабря 2009

* * *

Через полчаса его закроют,
этот парк, где мы сейчас бродили,
заметённый тишиной и снегом.
Но ещё мы медлим у решётки.
Возвращенье в мир всегда ужасно.

В сумерках мерцают ледяные,
слюдяные плоскости и формы,
границы... И следы мерцают тоже,
наши и не наши, вдаль и дальше
уходящие навстречу новой ночи.

Статуи в коробках позабыли
все свои божественные роли.
В ледяную пену Афродита
возвратилась. Мы не любим тоже
в этот миг друг друга. Мы не любим

никого и ничего. Вот так бы
и стоять всю жизнь, в таком безмолвье,
всё следить за умираньем неба,
где ещё в провалах изумрудных
тают, тлеют тонкие ресницы,

что упали с век смежённых солнца.
Так, прости меня! вот так стоять бы,
ни о чём не думая, не помня,
становясь одним огромным оком,
у пределов тьмы, за гранью света.

Свет другой светить здесь будет ночью.
Будут звери пробегать сквозь отблеск
звёзд, сквозь отсвет города, и тени
проходить бесшумно и бесстрашно,
в чудном мире, недоступном сердцу.

Декабрь 2008 – ноябрь 2009

Содержание

Попугай	4
«Увидеть бы море сегодня...»	5
Возвращение в Вормс	6
«Тосковать по тебе...»	8
«То, что было жизнью...»	9
Мост	10
Веденец	11
Прощанье	13
«Уходишь, уходишь в несметной толпе...»	14
Дождавшись варваров	15
Элегия	16
Шагающий египтянин (5 династия)	18
«Где-то север, где-то Оять...»	20
Елец	22
Разговор с философом	24
Moscow revisited	25
Кассидий	26
Ветки	28
«Все-таки есть и чужие стихи, ты не...»	29
«Вдруг, на миг, из облаков...»	30
Новое солнце	31
Перекрёсток	32
«В том городе были — бывали — сумерки...»	33
18 мая 2007	34
Мюнхенский дневник (часть 1)	
«Представь себе, как это было впервые...»	35
«Здесь, в книжной лавке, где я перелистываю...»	35
«История не закончилась, но смысл ее погиб...»	36
«Из окон поезда видишь молчащий мир...»	36
«Бессонница оставляет тебя умирать...»	36
«В их лицах все уже есть, вся скука...»	37
«И когда мы лежим обнявшись...»	37
«Ты научила меня чему-то, чему названья...»	37
«Голоса в трамвае охватывают меня...»	38
«Парк, в самом деле, есть перевод души...»	38

Стансы	39
Дижонская живопись	41
Адольф	43
Слова, солдаты	44
На Кампо ди Фьори	45
Три камня	48
Мюнхенский дневник (часть 2)	
«Ничего еще не закончилось. Новый век...»	50
«Утешительный город, мосты его и трамваи...»	50
«Здесь, где город кончается, на мосту...»	50
«Глаза его маслянисты...»	51
«Настоящей жизни уже точно не будет — пусть...»	51
«In angulo cum libro... Конечно, слова, слова...»	51
«Прежде поезда на станцию входит ветер...»	52
«Повторяются улицы, повторяется тишина...»	52
«Ничего прекраснее поезда, летящего в глубине...»	52
Одна душа	54
Элизий	56
«Уже бывают дни, когда я о тебе...»	59
Die poeti	60
«Письмо несуществующему брату...»	62
«В дзен-буддистском монастыре...»	63
In memoriam Inger Christensen. 2 января 2009	65
Горы над озером	67
«В саду Сезанна...»	68
«В счастливом городе чужом...»	69
Слава	70
«В четырнадцатом году...»	71
«Через полчаса его закроют...»	72

Алексей Макушинский. Море, сегодня

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор:

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru; alkonost@inbox.ru

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Формат 60x90 ¹/₁₆

Тираж 500 экз.